

**ИПЕРТИМА ПСЕЛЛА СЛОВО,
СОСТАВЛЕННОЕ ДЛЯ ВЕСТАРХА ПОФОСА,
ПОПРОСИВШЕГО НАПИСАТЬ О БОГОСЛОВСКОМ СТИЛЕ**

(1) Не удивляйся, любезный мой Пофос, что я оставил без внимания толпу бывших до меня риториков, которые, ища, чем бы приукрасить стиль, описывали по отдельности софистов и философов, являвших заботу о языке. В отличие от них, я попробовал в одном-единственном человеке раскрыть все искусство и силу слова. Ведь те не рассматривали достоинства речи одного какого-либо писателя, но разные достоинства у разных писателей (они хотели дать не половинчатое, а целостное и окончательное суждение о стиле), поэтому они отобрали у каждого что-то одно, соответствующее роду речи: у Платона, например, диалогическую речь, у сократика Эсхина - стройное соединение слов, у Фукидида - возвышенность и приподнятость, у Геродота - гармоничное благозвучие, у Исократы - слаженность парадных речей и панегириков, у Демосфена - в судебных тяжбах резкость, а вместе с нею разумность и полноту велегласия и вдохновения. У азианца же Полемона, у марафонца Герода, у эфесца Лоллиана и прочих, стяжавших себе славу речами, они брали то, что каждому из них было естественно и близко.

(2) Мне же по сравнению с ними посчастливилось взять одного из всех, я говорю о Григории, соименнике богословия, который с таким тщанием объединил в своих речах достоинства каждого из упомянутых лиц, что кажется, будто он не у них отыскал и собрал это, а сам собой стал первообразом словесной прелести. И потому, оставив без внимания словесные "идеи" у остальных, я предпочел охарактеризовать тебе его одного, и не кому иному дарю я свой труд, хотя знаю, что многие того требуют, но тебе любочестно приношу ныне то, что давно уже обещал.

(3) Если допустить, что сей великий муж, подобно тому, как он получил свыше начала философии, когда возвел свой ум к бестелесным и божественным идеям и из единого источника извлек для себя струи знания, так же откуда-то оттуда извлек несказанным путем красоту и силу речи и смешал их со своими сочинениями по законам высшей музыки, то мысль эта была бы нова, и тогда [признаем], что бесчисленными потоками с неба льется словесный источник, из которого Григорий вместе с другими изливал нам полные реки словесной прелести. Если же там нет ничего небожественного, а все [здешние] красоты суть подражания тамошним и имеют душевное или природное начало, то и тогда, по-видимому, этот изумительный муж превзошел природу. Ведь никто другой самостоятельно не достигал того, что он, даже в работе над отдельными качествами речи. Он же древним не подражал, а изливал все вместе из собственного источника; устремляясь к единой словесной сиринге, сделав многое единым, соединив середину с низом, а с серединой верх, ударив потом [по ней] мысленно и запев такую песнь жизни, какую, говорят, не поет и лебедь, когда, по мифу, собирается переселиться к своему богу. Григорий затмил своим голосом природу.

Я же часто общаюсь с ним ради его философии и ради пленительного слога и всякий раз, когда имею с ним дело, преисполняюсь несказанной красоты и прелести. Нередко оставляю то, о чем радел, и отведу ум от богословия, вдыхаю весенний аромат словесных роз и отдаю над собою власть чувствам. Зная, что попал в плен, милую и люблю насильника. А когда принужден бываю от языка перейти к его уму, то скорбно мне не попасть еще раз в плен, и я оплакиваю это как лишение. Ведь речь его красива не той красотой, в которой навывкли глупые софисты, не парадной, не театральной,

которая сначала приносит усладу, а потом - отвращение: ведь эти риторы, не исправившие крутизны губ, осмелились писать, прибегая в речах к дерзости, а не к искусству. Но не такова красота Григория: далекая от этого, она подобна гармоничной музыкальной красоте. Скажу [теперь об этом] яснее, языком риторики и развяжу запутанное, чтобы ты лучше понял простое.

(4) Слова, любезнейший сын мой, накиданы так, как мы говорим о разбросанных камнях: друг возле друга, не имея ни единой формы, ни отличительного признака: одни из них крупны, застревают в челюсти; сильно бьют они окружающий воздух, скопом проталкиваются в уши слушателей, шумят в лабиринтовых проходах и потрясают душу (описываю наглядно, чтобы ты лучше представил себе их силу); другие слова гладки от природы и ровны, не слишком благозвучны и не увлекают слуха, иные же лежат посредине и удовлетворяют требованиям гармонии, так что не будоражат и не услаждают. Одни из них можно сравнить с зелеными камнями, другие - с огненными, третьи - со светящимися, а иные - с едва зримыми. Не вместе, а повсюду лежат эти слова. Собирают же их обычно души самые предприимчивые. Так, кто посылал искать их за море, кто шел сушей, кто привозил из Ливии, а кто из Европы - где кто мог, там и приобретал он эти прекрасные камни. Души, когда они наги, все одинаковы, а когда бывают в телах, то разнообразны и под влиянием тела меняют свои склонности. Так, одни пошли в страну Евилат и, по словам Писания, многими стараниями и борениями выторговывали себе камень светло-зеленый, другие облюбовали камень небесного цвета, иные погнались за огненным, а для некоторых желанной стала пантарва, многие же, неумелые, подобрав из попавшегося им вещества что-то на вид небольшое, положили на главу своей стелы как какой-то знак.

(5) А великий сей муж был великим купцом и, говоря его же словами, купил многоценную жемчужину. Ее надо было вставить в золотую оправу и обложить камнями, стыдно было бы соединить и связать ее с ничтожнейшим камнем, а не с разноцветным и сверкающим, с дешевым золотом, а не с суфирским. Вот так и он, скажу прямо, ввел в свою речь слова, по форме своей округлые, шарообразные, не очень удлиненные, по внешнему виду приятные и милые, по прочности своей крепкие и легкие, не такие, какие подбирали Фукидид, сын Олора, или Никита из Смирны, афинянин Лисий, Исократ, Демосфен, сократик Эсхин и сам Платон. Не говорю уже о Сопатрах, Фениксах и остальных, кто за свой стиль заполучил себе кличку софистов, но говорю о тех, кого я причислил к опытнейшим в выборе слов, о тех, кого я похвалил, сравнивая с прочими риториками, потому что даже и знатоки не совсем избегают ошибок в выборе слов, и похожи они для меня на фосфоров, стильбонов и на планеты других сфер. Ведь они ярче остальных софистов, но когда восходит солнце, а они успели уже осветить восток и пройти восток и пятнадцать мойр, то они имеют вид угасающих.

(6) Счастливы те, кто жил до Григория и разбирал стиль отдельных писателей: не презираю я ни Дионисия, поставившего на первое место Лисия и Демосфена, ни Феофраста, дружившего с Аристотелем, ни философа Хрисиппа, ни критика Лонгина, ни лемносца Филострата, ни всяких Лесбонактов, Гермократов, Евдоксов, Дионов, ни остальных, которые были до них и славились среди прочих. Ведь тогда еще не спустился с неба и не пришел в мир великий Григорий, а скорее еще не взялся за словесную трубу, стоя на небе, и не затру-

бил в нее, расширив уста. Громогласием своим он не только живых заставил откликнуться, но и погребенных телом восставил и воздвиг к жизни. Если же писавший после него Евнапий или другой какой поборник эллинства, характеризуя других, не помянул о нем, то я в этих людях дивлюсь тому, что они не соединили его сочинений ни с чьими другими. А если бы какой-то Филосторгий причислил его к лучшим, сказав, что в его речах стопа больше, чем у других, то я не слишком обрадован таким признанием. Небесная красота и величие даже без похвал сами по себе достаточны, чтобы потрясти любую душу.

(7) Мы и взялись теперь характеризовать сего мужа не для того, чтобы прибавить ему что-то, но чтобы твою душу увести от разделения на части и направить ее к единой симфонии красоты, прелести, силы. Он, удивительный, подбирает составные части своей речи так, как мы уже сказали: у него не найти ни одного слова, которое не было бы мелодичным, слаженным, гармоничным (я говорю о гармонии букв, о которой очень заботился Дионисий); ни одного слова, которое не было бы красочным, звучным, плавным, ласкающим слух. Первое соединение (пусть им по-прежнему будет соединение из комм и колонов, которое создает периоды и дыхательные такты) он делает очень удачно, как не додумался бы никто, не читавший его, хотя бы умел представить себе любое соединение. Как говорят философы, невообразимы только ум и бог, прочее же доступно нашему пониманию: сущность души — в малой мере, в гораздо большей — природа и зависящие от нее тела. Так и у него соединение слов не поддается нашей фантазии. Не подумай, что сказанного не надо понимать в прямом смысле. Ведь кто собрал самые красивые слова, еще не получил нужное для хорошей речи соединение, равно как строитель дома, собрав для постройки бревна, не думает, что этого уже достаточно, чтобы дом получил красивейшую форму.

(8) Отобранные слова нужно соединять наилучшим способом, если правда, что красота не в отборе, а в слаженности. Мне известно про тебя, что ты, когда увлекся чувственной красотой, приготавливал для любимого тела украшения: головной убор, ожерелье или цепочку. Тобой-то я и воспользуюсь как примером. Не все жемчужины, думаю, брал ты крупные и круглые, а из камней брал не только сверкающие и зеленые. Пусть одни из них были прозрачны, красивого цвета и хорошей формы, другие же — мутные или словно изъеденные морской водой, с трещинами, иные же были расколоты до глубины, некоторые же малы, не придающие особого блеска производству искусства. Если тот, кто украшал убор, мало трудился над соединением материалов, то он показал с невыгодной стороны не только мутные камни, но и прозрачные тоже, в том случае, если он сваливал их вместе, без разбора, не прикрывал изъянов, если, выстраивая их в ряд, не сложил одни к одному конусы и окружности, не измерил их, не разложил их по треугольникам или четырехугольникам, а как попало менял их конфигурацию.

Если же этот человек знал, как надо соединять, то он брал разные части, в большинстве своем сами по себе малоценные, затем складывал их как следует, чтобы они были соразмерны,

ловко смешивал одно с другим, иногда увеличивал размеры с помощью малых частиц, иногда самым крохотным с помощью самых больших придавал какую-то красу, оставляя между ними пустое место, делал непохожее похожим и при несходстве материалов добивался наилучшей гармонии.

(9) Знаю, что ты не отречешься от этого примера, а зачтешь его мне. Если же нет, то изобличит тебя Фидий, который, сделав тело Афродиты из золота, приладил к очертанию глаз какой-то черный камень. Мастеру, делающему ожерелья, ты не позволишь откалывать куски от сапфира или отсекаать от яшмы, он же, в свою очередь, не сможет ничего к ним добавить. Мастер же, занятый обработкой частей своей речи, одно уменьшает и обламывает, прибегая к сокращениям, другое увеличивает, внося добавления, а иное переделывает с помощью аллегорий и разных фигур. Те, кому эта наука незнакома, не получили пользы от своей погони за красивыми словами, но сделали звучание их неприятным, потому что соединили их безвкусно. Лисий, Исократ, Демосфен, а особенно Геродот брали слова обычные и ходовые, соединив же их затем, как надо, превзошли велегласием прочих. Великий же сей отец, по сравнению с другими, был особенно внимателен к соединению слов, так что в его речах слова простые, ничем не выдающиеся, в разных сочетаниях получают такую яркость, какой никому не удавалось достичь с помощью новых слов. Приемов, от которых у него обычно зависит неопишуемая красота, я не могу уловить и только по неосознанному опыту сужу об этом.

(10) Всякий раз, когда я стараюсь уловить эти приемы и выследить, как от них у него льется красота, вижу другие истоки, от которых у него течет поток прелести. Связывает ли он речь, расслабляет ли ее или разрушает соединение, собирает ли ее в периоды или растягивает дыхательными тактами, заканчивает ли ритмы анапестами, придает ли речи размеренность ионийскими сопряжениями, втискивает ли свою мысль в тетраметр, растягивает ли ее до гексаметра или поступает как-то иначе — всюду шлет он мне прелести большие, чем утренняя или вечерняя звезда. Ведь красота Лисия похожа на красоту лилий, фиалок, нарцисса, потому что она услаждает только слух, подобно красоте тех цветов, которая услаждает только взор, дверей же души для себя не отворяет; округлые и отточенные снаружи, его слова внутри полые, а если часто давить их губами, они провалятся. У Демосфена же красота стянута в узлы, в ней всегда найдешь что-то короткое и обрубленное. Сейчас ведь мне не нужно говорить о тех, кто его защищает.

(11) У Исократа она ничем не затемнена, но невероятно растянута, и нет в ней сжатости. У Платона красота великолепна, однако не допускает, чтобы ее с чем-то соединяли; у Геродота — более сладкозвучная, чем у других, но быстро меняется и снова возвращается; красоту же Диона я не стал бы подлаживать под платоновскую, как это делает лемносец, упомяну лишь, что она полна словесных прелестей и своим разнообразием возбуждает слушателя, она не скучена и не связана, но свободна и непериодична.

(12) Красота же нашего богослова сначала всюду сама себе подобна. Даже если он начинает речь естественно, ее последующий ход покажется тебе весьма изящным и приятным. Если бы тебе захотелось отсчитывать у него стопы с конца, то ты закончишь на той же самой стопе, так что он, один и тот же, бывает на что-то одно похож и непохож. Ведь он с большим изяществом продвигается вперед и возвращается. Затем, словно его сочинения предназначены для лиры, он охватывает все ритмом не безудержным, как большинство риториков, а самым сдержанным (σφροειστάτω) Свою речь он не замыкает однообразной концовкой, но завершает периоды по-разному. В большинстве случаев речь его имеет [стихотворный] размер, но кажется, что он не отступает от прозы. И он хочет быть тем, кем кажется, а [стихотворным] размером он принаряживается. Он постоянно разнообразит [свою речь], меняя мысли и придавая словам большую приятность. С философскими мыслями он обращается, как с обычными, а с обычными, как с философскими. Забота о риторике в нем незаметна, но речь его полна ее цветов. Мне, во всяком случае, кажется, что он, однажды выпив сразу весь поток искусства, частью оттуда напоил свой разум, частью из своей души вывел источник воды живой и отделявал свои речи, не глядя на образец, но был сам для себя первообразом стиля.

(13) И потому, что бы ни произносил он, в этом сразу уже есть готовая риторика, хотя и без его намерения. Он строит свои речи не так, как большинство, которые не предваряют темы рассуждениями, а так, как, по словам Платона, его бог установил для себя идеи. Ведь Григорий приступает к высказыванию, предварительно расчленив и доведя до конца основную мысль своей речи, так что из-за этого даже импровизация у него бывает заранее продумана. Ведь он быстро заглядывает вперед, и ум его, пробежавшись почти мгновенно, одно опускает, другое принимает, после чего язык, как слуга, разъясняет слушателям то, что было таким путем отобрано.

На словах разъединяя философию и риторику, он не проводил такого же разделения их на деле, но философию почтил словесным сладкозвучием и велегласием, а свой риторский язык управил уздой ума. О великом и неудобнопроизносимом в догматах он говорит цветисто, как о красоте роз, а придавая духовный смысл низким темам, извлекаемым из рассказов или событий, предлагает высокоглаголание. Вот почему он не скупится порой на общие прозвища, и в речь его попадают Марфы и Марии, Петры и Симоны. В них то раскрывается их созерцательный смысл, то кажется, что эти имена принадлежат истории. Как в наставлениях, в них заключен какой-то дополнительный смысл, и ум, возносясь ввысь, представляет предмет себе чем-то другим и низкое видит высоким.

(14) Речь его расцвечена не только риторическими приемами, но и всяческими науками и рассказами варваров, эллинов, изречениями древних, назиданиями из сатировских сцен, Эзоповыми речами, разнообразными стихами из поэтических сочинений изящнейших лириков, таких, как Сапфо, Анакреонт, Архилох, [заимствованиями] у орфиков, пифагорейцев, перипатетиков, стоических философов; [он упоминает о разных] философских направлениях, о том, как воздерживаются [от реши-

тельных суждений] пирронцы, как ведут доказательства догматики, как последователи Гераклита не доверяют чувствам, [упоминает] о парадоксах Зенона и Мелисса, о том, что утверждает Аристотель, что предлагает Платон, о том, как космос разделен. Помимо этого, речь его полна описаниями земель, [он пишет про то], что части стихий в каких-то странах света претерпели изменение, и [там] сами собой появились острова, и ничего не забыл он из того, что читал. В математике сведущ он не меньше других. Ведь ему знакомы перемещения и движения звезд, [он знает], какие звезды блуждают, какие неподвижны, какие находятся вверху и внизу диаметра, что такое наклонности, а что ширина, ему известны двойные периоды и правильные движения, [он знает], в каких случаях привлекается аналогия, чтобы проверить то, что не согласуется с уже известным, [он знает] природу и первоначальное происхождение чисел, точность геометрии и симметрию чисел в музыке.

(15) Однако он не подчиняет этому свои речи и не подражает Плутарху, который в своих «Параллельных жизнеописаниях» неуместно расцвечивает гражданские темы мусическими и математическими примерами. Григорий обходит молчанием математический смысл там, где он присутствует между прочим, а если и бывает вынужден упомянуть о нем, то делает это с изысканностью и употребляет другие слова, так что большинство слушателей, не зная о подмене, придают им иной, нематематический смысл. Темы же подлинные и известные он вводит лучше, чем Платон. Ведь Платон одни из них оставляет незаметными, а другие без стеснения растягивает. Великий же отец и повествование делает неутомительным, разнообразя его своими речами, и, когда ведет беседу, не скрывает этого, не переходит в выпендренный стиль, не нагромождает одно на другое. Задавая вопросы противнику и одерживая верх, он, насколько возможно (в решениях вопросов он смел), дает прямые ответы, с помощью разной интонации освобождая беседу от ошибок. О природе существующих вещей он имеет и то знание, которое дает история, и то, которое соответствует принципам отделимого и неотделимого. После этого, продвигаясь вперед, он заводит речь о вещах бестелесных и, обладая знанием о них, не показывает его, а повсюду подражает Павлу. Ведь я думаю, что и он некогда был восхищен и слышал неизреченное и имел в себе неделимое. Слова же о промысле и суде он применяет там, где надо, слушателю дает вместить столько, сколько считает нужным, а остальное оставляет в высших сокровищах.

(16) После этого он переходит к богословию и всюду следует канону; по мнению многих, он ни о чем не говорит необдуманно; ему известна и «знаемая монада», и «высшая сущность», и «высший ум», и «высшая жизнь», однако он признает просто сущность, и жизнь, и тот ум, от которого это происходит. Изредка и перед немногими он говорит об этом, пользуясь возвышенными мыслями, то сохраняя исторический рассказ, то нарушая его, а в большинстве случаев он подбирает то, что связывает многих в единую гармонию, в гармонию духа.

(17) Однако у нас сейчас речь не об этом. Ведь не для того, чтобы показать в нем философа, составил я это слово, а для того, чтобы показать, как его риторский слог расцвечен, благо-

даря знанию всех словесных приемов. Он, как никто другой, мастерски владеет разными видами словесного искусства. Советы дает, сплетая порицание с увещаниями и смягчая [тон] фигурами, а когда судится, произносит что-то благозвучное и звонкое. Ведь речь его движется толчками, со свистом, и возбуждаемое при этом дыхание скачет. В совещательных речах похож он на струящийся елей, который течет бесшумно и ровно льется в душу, а когда [Григорий] борется с противниками, похож он на грозную бурю и молнии в облаках. Для каждого из этих двух родов речи берет он разные слова; ритмы же у него в одном случае стройные и благозвучные, в другом — резкие и прерывистые. Нигде не забывает он о философском смысле, но всюду сеет его в своих речах, чтобы в одном месте сделать ровное напряженным, а в другом — напряженное ослабить.

Однако особенно хорош он в своих панегириках. Ведь другие его речи можно сравнить с Исократами, Платонами, Демосфенами, в панегириках же у него нет соперников. Этот род речи и в самом деле намного труднее других. Вот почему Демосфен и любой другой ритор, живший до или после него, показали себя находчивыми и изобретательными в судебном и совещательном красноречии, а в панегириках все они допускали ошибки — один больше, другой меньше.

(18) Платон тоже хорош, однако составленная им надгробная речь — это не то, что его обличение идей в «Пармениде», или беседа о всеобщей красоте в «Федре», или философствование о душе в «Федоне». И Демосфен, когда он в речи «против лжесвидетельств Стефана» обвиняет Эсхина в недобросовестном посольстве и защищает свой золотой венок, когда он читает олинфские речи и вопит против Филиппа, тогда он не выпускает из уст олимпийской трубы, богато отделяет речь, пути доказательств доводит до желаемого совершенства. И все же, когда он дерзнул прославлять тех, кто пал во время войны, он стал уже не тот, изменившись совсем не так, как Аркисий. У Фукидида тоже мысль глубока, особенно в публичных речах, где он соединяет мысли и громоздит их друг на друга, но когда он воспеваает эпитафий, то допускает промахи в этом роде речи и бывает намного слабее собственной силы.

(19) Великий же Григорий, точно он первый изобрел такой род речи и превратил его в образец жанра, довел этот жанр до совершенства. Как в мифе Зевс [идет] с громом и молнией, так и он, начиная со вступления, мечет нескончаемыми парадоксами, несказанными красотами и неизреченными прелестями, потрясая слушателя словесными цветами и разнообразием фигур, иногда заставляя его удивляться, а иногда — рукоплескать, в ритме пускаться в пляс и сострадать событиям. Потом он идет вперед и по своему желанию быстро расчленяет всю речь, а затем возвращается к началу и раскрывает заглавные надписи. Что касается вступлений, то иной раз он дает их несколько, когда ему надо что-то предначертать заранее, а иногда думает, что и одного достаточно, порой он начинает прямо с середины доводов, проверяет себя и возвращается к началу. Ведь он, как бы в одной точке соединяя темы, обрывается с ними, как сам хочет, придает им новый вид и форму, точно он давит паль-

цами мягкий воск, лепит и переделывает его в любую фигуру.

(20) При помощи некоторых приемов, открытых им самим, Григорий расчленяет свою речь и сочленяет, складывает и раскладывает; самое краткое расширяет, дробя и рассекая свое рассуждение, растянутое же и длинное он сжимает и сводит к краткому изложению самого главного. Он умеет на свой лад делать разрывы между словами, и плеоназмы изобилуют у него. О возвышенном он толкует возвышенно, но не избегает и иного способа выражения. Нигде не бывает он невыразителен, но всюду полон живости и верен своему предмету; в нем есть сила и вдохновение, и он находит все новые и новые поводы, чтобы разнообразить речь. Мысли, которые далеки друг от друга, он соединяет, вводя мысли, их восполняющие и примиряющие, устанавливает согласие между ними и использует это как ступень в ходе своих рассуждений. Повествовательные же части Григорий украшает зачинами, словно цветами, с помощью членений, выдумок, прикрас и олицетворений делает их неутомительными для слушателей и читателей. Какое бы лицо ни ввел он в свою речь, он всегда остается ему верен и ведет себя так, как того требуют чувства говорящего: то орошает глаза слезами, то бодро, с увенчанной главой проезжает с блеском на колеснице, бывает что и с золотой уздой, а иногда изливается в жалобных мольбах и подавленных столах. Повсюду [у него] велеречие, словесная пышность, естественное величие и безыскусственная красота. Я знаю, что такой стиль не требует страсти и фигур. И потому Григорий соблюдает верность душевному складу говорящего, рассказывая о деле просто и нигде не составляя речей предумышленно ... но те в чем-то поступают правильно, а в чем-то ошибаются. Сей же отец слил воедино несовместимое и избежал ошибок тех и других, а то, что у них было правильного, он увеличил в длину и в ширину; хотя он и не заботился о правилах риторики, он обратил свои сочинения в рассказы.

(21) Самое же удивительное то, что в своем словоупотреблении он ясен, как любой другой, однако почти для всех и неясен. Неясен он не там, где, таясь, указывает на свое богословие, и не там, где с помощью догмата делает для нас очевидным что-то очень тонкое (я не говорю тут об аллегории в рассказах, потому что рассматривать ее и говорить о ней надо иначе, более возвышенно и глубоко). Нет, он непонятен для читателей там, где мысли его просты, слог чист и слова ярки. То, о чем я говорю, это не то, о чем думают многие, когда [говорят], что у Аристотеля слова мало понятны, что ритор Аристид из-за какой-то особенности его слога трудно изъяснить и толковать, что у Плутарха в его «Моралиях» вот такой-то род речи. Нет, мои слова о великом отце имеют другой смысл. Ведь Аристотель, хотя и может быть ясным, нарочно прячет предложенное им, заключая многое в одно высказывание. Аристид же располагает слова, как прорицающий оракул, разделяя те слова, которые для связи мысли должны были стоять вместе. А у философа Плутарха неудобопонятность вызвана не тем, как он соединяет слова, а тем, как он перемешивает [разные] учения.

(22) Григорий же, хотя он и не предлагает учений в большом числе и всюду заботится о ясности, обо всем существующем задает в своих сочинениях недоуменные вопросы. Вот почему, как бы для руководства других, некоторые составили различные книги толкований. С этой целью я и сам дал решение многих недоуменных вопросов, придумав, как ты знаешь, готовые ответы на них.

Григорий плодовит и находчив в темах, рассматривающих тезисы, как это видно в его совещательных речах. Он смешивает фигуры [речи] не так, как Платон, который использует их не во всех частях своих сочинений, не так, как Лисий, который опускает большинство из них, и не так, как Демосфен, который говорит о государственных делах иначе, чем о частных, и не как Исократ, который всюду заботится о звуках и получает удовольствие от слов с одинаковым началом, равно как и с одинаковым концом, и не как Аристид, который везде гонится за мовдным стилем и ловит себе похвалы за новизну сочетаний. Григорий смешивает фигуры всегда по-своему, подобно тем, кто достигает гармонии благодаря применению числовых пропорций. Он силен в том виде [красноречия], который выражает нрав говорящего, и в сжатом тоже, но особенно хорош он в величественном и возвышенном тоне.

(23) Нигде не изменяет он тому способу, каким создается мощный стиль; пространный же стиль он растягивает настолько, насколько к тому естественно вынуждает само дело; четкость его изумительна, и он не уклоняется от ясности.

Многим из своих речей он придал два смысла, явный и скрытый. Ему хочется сказать то, что он скрыл, и вот он пускается в рассуждение, чтобы раскрыть вопрос настолько, насколько ему хочется, и при этом избежать обличения. Слова у него имеют двойной смысл, так что могут означать одно и другое. Речь свою он ведет с достоинством и не без иронии. Когда он жалуется на многие свои беды, то делает это незаметно и столь искусно излагает мысль, что почти все понимают, что он хочет сказать, хотя и не говорит прямо. Почти не смея касаться таинственных учений из-за неподготовленности слушателей, он пускается в исторические рассказы, которые превращает в аллегорию, но не разъясняет ее. Иногда, впрочем, он раскрывает скрытое, если в аллегории нет неприятного смысла.

Он всячески стремится пленить слух сразу во вступлении, когда дает направление всей речи; с точки зрения риторики он пишет просто, без нарочитых приемов, а по-моему, очень искусно и коварно, скажу именно так. Когда он доходит до доказательств, то тут он способен добиться всего, что ему хочется; он силен в обработке эпихирем, причем не все пускает он в ход, а лишь столько, сколько привык отмерять себе при удобном случае. Пользуясь приемами на разный лад, он бывает и подобен сам себе на протяжении всей речи, и неподобен, нигде не нарушая правил риторики и в то же время неодинаково пользуясь ими. Так, во вступлениях он предлагает мысли очень глубокие и важные, а переходя к самой теме, меняется и становится более цветистым, но когда еще раз касается предмета, то бывает оживлен и правдив, там же, где он берется коротко повторить все, он изящен и скуп на слова, а там, где ему хо-

чется придать речи полноту, слог его расслаблен и не скован, и любое содержание он ставит здесь на службу умозрению.

Для меня это «Слово» только начало речи, твою же душу, я знаю, насытит и то, что уже сказано. Угостись поэтому теперь, сколько можешь, начатками речей о великом, а когда они в тебе до конца переварятся, мы принесем тебе остатки пира.

Воспроизведено по изданию: Античность и Византия: Сб. ст. - М., 1975. - С.161 - 171.